

18+ Стэллеса Трифф

Кислая
Ромашка



Стэллиса Трифф

Кислая Ромашка

«Издательские решения»

Трифф С.

Кислая Ромашка / С. Трифф — «Издательские решения»,

Эта книга — про то, как человек постепенно превращается в собственного призрака. Про стеклянную хрупкость того, кто остался. Про психологию выживания после того, как выживать не для кого. «Я не знаю, зачем мне жить. Но я попробую. Ради тебя. Потому что ты не хотел бы, чтобы я сдался». Роман без фальшивых надежд. С дымом, холодом и одной правдой: иногда быть сильным — значит признать, что ты разбит. И всё равно идти вперёд. По осколкам.

© Трифф С.

© Издательские решения

Содержание

ПЛЕЙЛИСТ	6
ГЛАВА 1	7
ГЛАВА 2	12
Конец ознакомительного фрагмента.	14

Кислая Ромашка

Стэллеса Трифф

© Стэллеса Трифф, 2026

ISBN 978-5-0071-3084-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПЛЕЙЛИСТ

Кино — «Звезда по имени Солнце»

ДДТ — «Что такое осень»

Земфира — «Итоги»

Наутилус Помпилиус — «Крылья»

Баста — «Мама»

Земфира — «Прогулка»

Баста — «Сансара»

ГЛАВА 1

Я не считал дни. Они считали себя сами.

Сорок. Цифра, которая ничего не значит для того, кто никогда не верил в Бога, в церковь, в свечи и молитвы. Я ходил туда дважды в жизни — на похороны отца с матерью и на похороны брата. Теперь вот пришёл на сороковой день. Не потому, что верю. Потому, что так надо. Ему надо. Или мне. Я уже не разбираю, где чьё.

Дорога на кладбище была вымощена временем и чужими слезами. Я шёл по ней, сжимая в кармане куртки пачку сигарет и зажигалку. Год назад я даже не знал, как они пахнут. Год назад я считал себя спортсменом, верил в дисциплину, в чистоту лёгких, в силу, которая рождается из правильного дыхания. Я был уверен, что моё тело — храм, и никто не войдёт в него с грязными ногами. Теперь я дышу дымом. И мне плевать на храмы. Они всё равно пусты.

Октябрь встречал меня мокрым снегом и ветром, который выл в голых ветках, как по кому-то, кто не успел укрыться. Кладбище спало своим вечным сном. Памятники, кресты, ограды — всё это было чужим и далёким, пока не стало моим. Я не знал, как правильно себя вести здесь. Молиться? Я не умею. Плакать? Я разучился. Стоять молча? Стою. Но внутри всё кричит, а наружу не выходит.

Я знал дорогу к их могилам наизусть. Моя ноша была там, где земля ещё не успела осесть, а венки не высохли до конца. Там, где самое свежее пятно на этом огромном полотне потерь.

Ваня.

Мой брат. Моя последняя кровь. Мой немой свидетель. Тот, кто знал меня до того, как я стал тем, кем стал. Тот, кто видел меня чемпионом и неудачником, сильным и разбитым, живым и почти мёртвым. Он лежал в новом секторе, где могилы похожи на аккуратные клумбы — слишком правильные, слишком свежие, слишком жестокие в своей геометрии. Рядом с ним — пустое место. Для кого? Для меня. Когда-нибудь. Или, может, для мамы с папой? Нет, они на другой стороне. Это место просто ждёт. Может, дождётся. Может, меня зароят в другом конце, как бродячую собаку. Я не знаю. И знать не хочу.

Я остановился у ограды. Памятник был простым — чёрный полированный гранит, выбитые буквы, две даты, разделённые чёрточкой, которая стояла целой жизни. Я не плакал. На похоронах не плакал — стоял, как столб, смотрел, как гроб опускают в яму, как Ангела рыдает на плече у Лёхи, который тоже был мокрым от слёз, как комья земли стучат по дереву, как глухо, навсегда. Я стоял и чувствовал, как внутри что-то отмирает. Не болит, не ноет — просто перестаёт существовать. Часть меня, которая умела чувствовать тепло, улыбаться по-настоящему, верить в завтра.

Я не плакал тогда. Не плакал на девятый день. Не плакал вчера, когда пил один в пустой квартире, глядя на его вещи, которые не мог выбросить, потому что выбросить их значило бы признать окончательность. А я не готов. Я никогда не буду готов.

Я присел на скамейку у могилы. Холодный камень, холодный ветер, холодная земля под ногами. Достал пачку — дешёвый «Винстон», красный. Руки не дрожали. Они привыкли к этому жесту — поднести сигарету к губам, щёлкнуть зажигалкой, вдохнуть горечь. Первая затяжка обожгла лёгкие, я закашлялся, как в первый раз. Месяц назад. Или два. Я сбился со счёта. Раньше я мог пробежать десять километров и не запыхаться. Теперь я задыхаюсь от одной сигареты. Символично. Я задыхаюсь от всего.

Я посмотрел на памятник. На его имя. На даты. На крошечную иконку в уголке. Я не знаю, зачем её приклеили. Наверное, Ангела. Она всегда была в это повернута. А я нет. Бога нет. Если бы он был, разве позволил бы он родителям разбиться на мокрой трассе? Разве позволил бы он Ване сесть на этот проклятый мотоцикл? Разве позволил бы он мне стоять здесь, с сигаретой в руке, и не чувствовать ничего, кроме пустоты?

Ветер перебирал пожухлые листья на соседних могилах. Где-то далеко каркнула ворона. Я докурил до половины, затушил о подошву ботинка и положил окурочек в карман. Не на могильный камень. Не на землю. Уважение. Последнее, что я могу ему дать.

Достал вторую. Закурил снова, глубоко, почти до тошноты.

Я смотрел на чёрный гранит и говорил с ним. Вслух. Потому что тишина убивала быстрее, чем любой удар под дых.

— Привет, брат. Прости, что не пришёл раньше. Трудно было.

Голос мой был чужим, хриплым. Я почти не узнавал его. Раньше я умел кричать на ринге, рычать от напряжения, смеяться после побед. Теперь я говорю шёпотом, как будто боюсь разбудить мёртвых. Но они не спят. Они просто ушли. А я остался.

— Сорок дней, Вань. Говорят, душа ещё здесь. Я надеюсь, ты не смотришь на меня сейчас. Потому что я... я не тот, кем ты меня знал. Я уже не тот, кого ты уговаривал не сдаваться. Я... я сдался, брат. Давно. Ещё до того, как ты ушёл.

Я затаился глубже, сжигая спазму в горле. Дым горчил, глаза слезились — то ли от ветра, то ли от чего-то ещё.

Ты помнишь, как меня выгнали из большого бокса? Тот бой против Андрея Соболева. Тот, после которого меня называли мясником и психом. Ты был тогда в зале. Сидел на трибуне, сжимал кулаки, кричал: «Давай, Ром! Уничтожь его!» Ты не знал, что он сказал мне после гонга. Ты не слышал, как он плюнул мне в спину и прошипел: «Сирота чёртова, тебе не место в этом спорте». Ты не видел его ухмылку, когда он ударил меня исподтишка, в челюсть, когда я уже повернулся к нему спиной.

А я ударил в ответ. Один раз. Потом ещё. Потом не мог остановиться. Четыре удара. Все в голову. Он упал, и я всё бил и бил, пока рефери не оттащили меня. Я не чувствовал его лица. Я чувствовал только бешенство — на него, на судей, на весь этот грязный, продажный спорт, где побеждает не сильнейший, а тот, у кого длиннее язык и толще кошелёк.

После меня дисквалифицировали. Тренер Царёв, который растил меня с семи лет, выгнал из зала. Сказал: «Кисляков, ты не боец. Боец умеет держать себя в руках. Ты — животное. Я не хочу иметь дело с животными». И закрыл дверь перед моим носом.

Я не спорил. Он был прав. Я переступил черту. Ту самую, о которой он твердил мне все эти годы. Я думал, что я сильнее своих инстинктов. Оказалось — нет.

Ты тогда пришёл ко мне домой. Принёс пиццу, которую я ненавидел, и сказал: «Ром, ну и чёрт с ними. Ты же талант. Найдёшь другой зал, другого тренера. Вон Марк Шторм который вообще подпольно боксировал, а потом нокаутировал Бизона. Ты сможешь». Я знаю, ты хотел как лучше. Но я уже не мог. Во мне что-то сломалось в тот вечер. Не только челюсть Соболева. Моя вера. В спортивную справедливость. В то, что честность когда-нибудь победит.

Я начал ходить в «Колизей». Подпольные бои без правил. Грязные деньги, кривые ставки, запах крови и бетона. Марк когда-то начинал там. Он смог выйти. А я не смог. Или не захотел. Там меня никто не судил за жестокость. Там её ждали. Там платили за неё. И я стал тем, кого ты боялся во мне увидеть.

Ты молчал. Не осуждал. Ты просто говорил: «Береги себя, брат». Я обещал. И не сдержал обещания. Ни одного.

А потом ты сел на этот мотоцикл.

Я помню тот вечер. Ты пришёл домой с горящими глазами, как ребёнок перед Новым годом. Сказал, что ребята с улицы предложили покататься, погонять за городом. Я сказал: «Не пей, Вань, ты за рулём». Засмеялся: «Да ладно, Ром, одну банку пива. Это же не водка». Я не настоял. Я был занят своими тренировками в подвале. Думал о комбинациях, о следующем бое, о деньгах. Я не подумал о тебе. Я никогда не думал о тебе достаточно.

Через три часа мне позвонил Лёха. Голос у него был странный, прерывистый. Я собрался за минуту. Добежал до больницы. Вошёл в палату. А там... там уже никого не было. Врач

стоял с лицом, которое ничего не выражало. Сказал: «Мгновенная смерть. Отбойник. Перелом основания черепа. Практически не мучился».

Не мучился.

Он мучился, Ваня. В ту секунду, когда понял, что летит в ограждение. Когда понял, что ещё секунда — и всё. Когда в его голове, наверное, промелькнули мы, мама, папа, наш старый двор, где мы играли в футбол, и моя дурацкая физиономия. Он мучился. И я не был рядом. Я не остановил его. Не отобрал ключи. Не сказал: «Сиди дома, Вань, я лучше сам вас развезу». Я думал о себе. О своих поражениях. О том, какой я несчастный, потому что меня выгнали из спорта. А он был жив. И он улыбался. И он ждал, что я когда-нибудь выберусь из этой ямы.

Я не выбрался. Я упал ещё глубже. Теперь я на самом дне. И ты не сможешь меня оттуда вытащить, потому что тебя нет.

Не заметил, как докурил вторую сигарету. Пачка пустела. Ветер раздувал пепел, и он летел в сторону ограды, оседал на мокрых листьях. Достал третью. Пальцы замёрзли, но я не чувствовал холода. Внутри был только этот ледяной ком, который не таял уже сорок дней.

Последние два года я почти не выходил на связь. Анжела с Лёхой уехали в Лондон — у него контракт с английским клубом, она нашла работу психолога. Они звонили, предлагали перебраться к ним. Я отказывался. Мне не нужен был Лондон. Мне нужен был ты. Рядом. Здесь, в этом городе, где мы выросли, где каждый уголок помнит наши голоса, нашу возню, наши дурацкие споры о том, кто сильнее — боксёр или хоккеист. Ты всегда говорил, что хоккей круче. А я смеялся и бил тебя по плечу. Не сильно. Просто так, по-братски.

А теперь мне не с кем спорить. Не с кем пить чай на кухне в три часа ночи. Не на кого крикнуть: «Вань, выключи этот ужас!» — когда он включал свою музыку на полную громкость. Я сижу один в пустой квартире и слушаю тишину. Она громче любого металла.

Я выпил впервые через неделю после похорон. До этого я даже пива не брал в рот — спортсменская привычка. Рацион, режим, дисциплина. Я был горд тем, что не пью и не курю, в отличие от многих друзей. Ты надо мной подшучивал: «Рома, ты что, монах? Живи в кайф». А я отвечал: «Кайф — это когда ты чемпион». Я не стал чемпионом. Я стал никем.

Алкоголь оказался горьким и тёплым. Он разлился по горлу огнём, а потом внутри стало легче. Ненадолго. На пару часов. Я решил, что это лекарство. Самое дешёвое, самое доступное, самое бесполезное. Но другого у меня не было.

Начал курить на второй неделе. Сосед по лестничной площадке угостил. Я затанулся, закашлялся, покраснел. Он посмотрел на меня как на идиота. «Ты что, первый раз?» — спросил. «Первый», — ответил. Он рассмеялся. А я стоял, чувствуя, как никотин бьёт в голову, и думал: «Вот теперь я точно такой, как все. Сломанный, грязный, пропащий».

Ты бы меня не узнал, Вань. Честно. Я смотрю в зеркало и не узнаю себя. Глаза потухшие, под ними мешки, щетина, которую я не сбрываю уже неделю, впалые щёки. Я похудел на десять килограммов. Мышцы обвисли, удары стали медленнее. На последнем бое в Колизее меня чуть не убили. Пропустил хук справа, упал, еле встал на счёт «девять». Выиграл чудом. Потому что соперник испугался. Не меня. Моих глаз. В них, наверное, было что-то такое, что заставило его отступить. Или ему просто надоело бить лежачего.

Я не знаю. Мне всё равно.

Сигарета снова догорела. Я бросил её в жестяную банку, которую поставил у памятника, чтобы не сорить. Достал четвёртую. Закурил. Рука не дрожала. Она привыкла к тяжести. Как привыкла к ударам. Как привыкла к пустоте.

Знаешь, что самое страшное? Не то, что я один. А то, что я привык к этому одиночеству. Я просыпаюсь утром и первым делом думаю не о тебе, а о том, где взять сигареты и хватит ли денег на выпивку. Я перестал видеть твоё лицо во сне. Перестал слышать твой голос. Ты уходишь из моей памяти, Ваня, и я ничего не могу с этим сделать. Я пытаюсь удержать тебя — пересматриваю наши старые фото, читаю твои сообщения в телефоне. Но они становятся

чужими. Как будто это был не ты. Как будто это был кто-то другой, очень похожий на тебя, но не ты.

Анжела говорит, что это защитная реакция психики. Что я вытесняю травму, чтобы не сойти с ума. Может быть. Но мне не легче. Мне не становится легче от того, что мой мозг пытается меня спасти. Я не хочу спастись. Я хочу помнить. Я хочу чувствовать боль. Потому что если я перестану чувствовать боль, то забуду, зачем вообще живу. А я и так уже не знаю, зачем.

Я сидел на скамейке, и ветер становился всё сильнее. Мокрый снег перешёл в мелкий, колючий дождь. Он стучал по капюшону моей куртки, по камням, по увядшим цветам у ограды. Где-то на окраине кладбища завывала собака. Или волк. Или мне показалось. В этой тишине любой звук казался неестественным, чужим.

Я вспомнил, как мы с тобой в детстве боялись кладбищ. Обходили их за километр, крестились, хотя никогда не были верующими. Ты говорил: «Здесь страшно, тут мёртвые». А теперь ты сам здесь. И ты не страшный. Ты просто... отсутствуешь. Как выключенный свет. Как закрытая дверь. Как пустая комната, где когда-то было тепло.

Марк сейчас в Тбилиси. Ищет Дилару. Она сменила всё в своей жизни. Что он никогда её не найдёт. А он всё равно ищет. Два года. Мотается по Грузии, работает механиком в каком-то гараже, копит деньги, ездит в деревни, расспрашивает. Я не знаю, найдёт ли он её. Но завидую его упорству. У него есть цель. Хоть какая-то. А у меня нет.

Лёха звонит каждую неделю. Спрашивает, как я. Я всегда отвечаю: «Нормально». Он не верит, но не давит. Он знает, что я не люблю, когда лезут в душу. Анжела говорит мягче, осторожнее. Предлагает приехать, пожить у них в Лондоне, сменить обстановку. Я отказываюсь. Я не могу уехать. Не потому, что здесь хорошо. А потому, что здесь ты. Здесь твоя могила. Здесь наша квартира, где всё ещё пахнет тобой — смесью дешёвого шампуня, стирального порошка и той дурацкой арахисовой пасты, которую ты мазал на хлеб каждое утро. Если я уеду, этот запах исчезнет. И я останусь совсем ни с чем.

Я не знаю, что будет дальше. Я не строю планов, не мечтаю, не надеюсь. Я просто существую. День за днём. Неделя за неделей. Сигарета за сигаретой. Глоток за глотком. Может быть, когда-нибудь станет легче. Может быть, нет. Но сейчас мне важно одно: быть здесь. С тобой. Хотя бы так.

Я посмотрел на часы. Было уже почти темно. Фонари за воротами кладбища зажглись, но внутри было сумрачно и зябко. Я не хотел уходить. Я мог бы просидеть здесь всю ночь. Но холод пробирал до костей, и тело начало ныть — старые травмы, переломы, растяжения. Сорок дней назад я был крепче. Сорок дней назад я мог простоять на морозе часами. Теперь я мёрзну, как старик. В двадцать три года.

Я встал со скамейки. Ноги затекли, я покачнулся, ухватился за ограду. В голове слегка шумело — от сигарет, от ветра, от голода. Сегодня я почти ничего не ел. Только выпил кофе утром и закурил.

Я подошёл к самому памятнику, притронулся к холодному граниту. Провёл пальцами по его имени. По датам. По этому проклятому тире между ними.

— Я не знаю, слышишь ли ты меня, Ваня, — сказал я тихо, почти беззвучно. — Но если слышишь... прости. За всё. За то, что не уберёг. За то, что не настоял. За то, что я всё ещё здесь, а тебя нет. Я не знаю, зачем мне жить. Но я попробую. Ради тебя. Потому что ты не хотел бы, чтобы я сдался. Даже сейчас. Даже мёртвый, ты бы сказал: «Рома, вставай, боец». И я встаю. По утрам. Каждый чёртов день. Иду в зал. Боксирую. Зарабатываю деньги. Делаю вид, что всё нормально. Потому что если я перестану притворяться, то рухну окончательно. А я не хочу рушиться. Не хочу, чтобы ты видел меня таким.

Я отступил на шаг, ещё раз окинул взглядом могилу. Венки почти увяли, ленты поблёкли от дождя. Рядом стояла банка с моими окурками — уродливое, неуместное свидетельство моего присутствия. Я уберу её потом. Завтра. Или послезавтра. Сегодня не хочу.

Я повернулся и пошёл к выходу. Шаги были тяжёлыми, неверными. Дорога тянулась бесконечно, как время, которое ещё предстояло прожить. В спину дул ледяной ветер, и каждый шаг отдавался в груди тупой болью.

У ворот я остановился, достал последнюю сигарету из пачки. Закурил. Сделал глубокую затяжку, глядя на залитое дождём небо.

— Кислая Ромашка, — прошептал я, вспомнив прозвище для меня от покойного тренера Колизея Валеры.

Сигарета догорела. Я бросил её в урну и шагнул за ворота.

Сорок дней прошло. Душа, если она существует, наверное, уже улетела. А я остался. Навсегда. С этой болью, с этой пустотой, с этим вопросом, на который нет ответа.

Но я иду дальше. Потому что ты бы не простил мне остановки. Впереди — осень, дождь, ночь. А за ней — утро, которое придёт снова, как бы я ни сопротивлялся.

И я встречу его. Один. С сигаретой в руке и твоим именем в сердце.

ГЛАВА 2

Я просыпаюсь за час до будильника. Это случается со мной всегда, когда предстоит что-то важное. Не экзамен — экзамены меня не волнуют. Не контрольная по математике — там я всё равно плаваю. Важное — это утро среды. День, когда после школы я иду в зал. В секцию бокса.

Мне пятнадцать. Я учусь в девятом классе. За окном темно. Октябрь, шесть утра, зарю ещё не видно. Я встаю, натягиваю спортивные штаны, кофту с капюшоном, кроссовки. Завязываю шнурки туго, чтобы не болтались. Выхожу на лестничную клетку. В квартире тихо: родители И Ваня ещё спят. Я не завтракаю перед пробежкой. Тренер сказал: пустой желудок — лёгкие ноги. Я верю тренеру.

На улице прохладно, но не холодно. Осень в этом году выдается мягкой. Я бегу по знакомому маршруту: от дома до парка, три круга вокруг стадиона, потом обратно. Восемь километров. Ничего сверхъестественного для парня моей комплекции. Ноги несут сами.

Сначала в голове пусто. Только ритм: вдох-выдох, вдох-выдох. Шаги отбивают такт. Потом начинают лезть мысли. Школа. Опять эти клоуны из 11-го «Б». Они меня бесят. Клички: «Кислый», «Лимон», «Ромашка». Тупые, детские, но я всё равно злюсь. Особенно их главарь, Пашка Громов. Думает, что раз он старше на два года, то может меня задирать. В прошлый раз в коридоре толкнул плечом, я сдержался. Тренер сказал: первый удар на улице — последний в зале. Дисциплина. Я держусь.

Ускоряюсь. Ветер свистит в ушах. Воздух обжигает лёгкие, но это приятно. Боль — это хорошо. Боль означает, что ты жив.

После пробежки — турники. Подтягиваюсь двадцать раз, отжимаюсь на брусьях — три подхода по пятнадцать. Потом растяжка у старой бетонной стены, где фонарь уже не горит. Тени, холод, одиночество. Я люблю это время. Никого нет. Только я и моё тело. Я чувствую каждый мускул. Бицепс, трицепс, широчайшие — они уже проступают под кожей, хотя до идеала далеко.

Возвращаюсь домой, когда на кухне уже пахнет блинами. Мама печёт их каждое утро перед школой. Гречневая мука, яйца, немного сахара. Я ем пять штук, запиваю стаканом молока. Ваня сидит напротив, сонный, лохматый, смотрит на меня с обожанием.

Я собираю рюкзак. Учебники, тетради, сменка. В отдельный отсек кладу бинты — они всегда со мной. На всякий случай. Не то чтобы я собирался драться в школе, но мало ли. Форма лежит в шкафчике в раздевалке зала. Туда я поеду на автобусе сразу после уроков.

Мама целует меня в щёку.

— Не дерись сегодня, Рома.

— Я и не дерусь, мам.

— Я знаю. Но ты знаешь, что я имею в виду.

Я знаю. Она боится, что меня исключат. Что я сорвусь. Один раз уже было — в седьмом классе я разбил нос однокласснику, который обозвал меня «быдлом». Тот первый, кто поплатился. Меня вызвали к директору, родители краснели, извинялись. Тренер Царёв тогда сказал: *«Кисляков, ты боец или хулиган? Если боец — доказывай это в ринге. А на улице учись держать себя в руках. Иначе вылетит из секции»*. Я запомнил. С тех пор терплю. Не всегда легко, но терплю.

Школа встречает меня запахом хлорки и школьных булочек. Раздевалка, второй этаж, класс «9-А». За партой я сижу один — на последнем ряду, у окна. Ко мне никто не подсаживается. Потому что я сам выгляжу так, что лучше не приближаться. Я не злой, просто молчаливый. Не поддерживаю трепотню про девушек, про новости, про то, кто с кем пошёл в кино.

Мне это неинтересно. Интересен ринг. И физика. Физику я люблю — за логику, за понятность. Сила, масса, ускорение. Всё как в боксе.

На большой перемене я выхожу в коридор. И тут же — они. Пашка Громов со своей свитой. Двое здоровых парней из 11-го, таких же тощих, как их главарь. Они встают в проходе, перекрывая дорогу.

— О, Кислый идёт! — Пашка ухмыляется, скрещивая руки на груди. — Как жизнь, лимон?

— Отойди, — говорю я спокойно. Не громко, но так, чтобы слышно было.

— Ой, какие мы грозные, — ржёт один из подпевал. — Слышь, Гром, он нас сейчас всех побьёт. Прямо как в прошлый раз, когда морду бить полез, а сам схлопотал от директора.

— Я сказал: отойди, — повторяю я.

Пашка не двигается. Он смотрит на меня сверху вниз — мы почти одного роста, но я шире. Он это видит. Видит, но не отступает. Потому что за ним толпа. Потому что он привык, что его боятся.

— Кислый, а ты правда боксёр? — притворно удивляется он. — А выглядишь как борец. Или как штангист.

— Паша, напомню, что ЕГЭ скоро, — говорю я, и в моём голосе появляется лёд. Это предупреждение.

— Не учи, я сам знаю, — он делает шаг вперёд, упираясь мне в грудь пальцем. — Ты, Кисляков, слишком много о себе думаешь. А у нас тут свои законы.

Я смотрю на его палец. Потом медленно поднимаю глаза на его лицо.

— Убери палец.

— А то что? Ударишь? — он давит сильнее. — Трус ты, Кисляков. Боксёр на ринге, может, а в жизни — ссыкло.

Внутри закипает. Волна жара поднимается от живота к груди, к горлу. Кулаки сжимаются сами. Я вспоминаю слова тренера. Дисциплина. Спокойствие. Дыши.

Делаю глубокий вдох. Медленный выдох.

— Я не буду с тобой драться, Громов. Ты не стоишь моей дисквалификации.

— Ой, какие мы благородные! — он оборачивается к своим, они смеются. — Слышали? Он меня жалеет.

Я прохожу мимо, чувствуя их взгляды на спине. Идти тяжело. Каждый шаг — как сопротивление. Но я иду. Не оглядываюсь.

На уроке я не слушаю учителя. Сижу, смотрю в окно, и думаю о зале. О том, как сегодня буду бить грушу. Как вложу всю злость, всё напряжение, всю эту дурацкую школу в один удар. Тренер говорит: бокс — это дзен. Ты должен быть пустым, когда выходишь на ринг. Злость мешает. Но злость можно переплавить в силу. Я учусь это делать.

После уроков — бегом на выход. Автобус, двадцать минут тряски, и я у зала. Старое здание, бывший ДК. Запах пота, мазей, старой кожи и пыли.

Раздевалка. Я переодеваюсь быстро, бинтую руки. Каждый палец, каждое движение отточено до автоматизма. Бинты — белые, хлопковые. Я наматываю их туго, но не слишком, чтобы кровь циркулировала. Сначала на левую, потом на правую. Потом — перчатки. Тяжёлые, кожаные, двенадцать унций. В них я чувствую себя воином.

Выхожу в зал. Он небольшой, но уютный. Посередине — ринг, вокруг — груши, мешки, скакалки. Зеркала во всю стену, чтобы видеть свою технику. На скамейках — ребята. Кто-то разминается, кто-то уже работает в парах.

Царёв стоит в углу с секундомером. Ему за пятьдесят, но он подтянут, жилист. Лысина, усы, вечно недовольное лицо. Говорят, в молодости он был кандидатом в сборную, но травма поставила крест на карьере. С тех пор он растит чемпионов. Суровый, требовательный, не терпящий слабаков. Я его уважаю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.